

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+



А.С. Якушев
Дорога в РАЙ
Сказ о старовере

Андрей Степанович Якушев

Дорога в РАЙ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55615767

SelfPub; 2020

Аннотация

"Дорога в РАЙ" – автобиографический роман. Автор подводит итог своей жизни, его герой возвращается после испытаний, выпавших на его жизнь, на свою малую родину, в деревню староверов под названием Рай. Какие приключения были у уже не молодого героя, как он с ними справился и как нашел спокойствие и любовь, читайте в новом романе "Дорога в РАЙ". Содержит нецензурную брань.

Сказ о старовере.

Посвящаю жене Людмиле Николаевне.

Обезножен. В коляске сижу.
И всякий час надежду жду
В твоих страдающих глазах.
Но милое лицо твое в слезах.

Глава первая.

О С К О Л К И

Сколько их было. И не удивительно. Бывшему капитану дальнего плавания Николаю Фотийвичу Долганову стукнуло 80 лет. Осколков этих у него навалом. И от детства, и от зрелости, и так до старости. Каждый в памяти как в зеркале. Не тускнеют. Раньше вроде не смотрел. Не было надобности что ли. А сейчас тянет. Наверное, от нечего делать. А больше от того, что такая жизнь настала – в страшном сне не придумаешь. Развал. Опять занавес. Только теперь додумались закрыть плотной завесой все то, что было достигнуто. Мавзолей Ленина и тот закрыли картоном. Флаг Победы заменили. Как будто его и не было. Все убирают, что напоминает подвиги прошлого. 70 лет выкинуты из моей жизни. Недоумевал Николай Фотийвич, прижимая руку к сердцу и стараясь понять настоящее душою, которая его не принимала. Может

что-то делали не так, шли не туда куда надо. Но за всех не ответишь. Лишь за себя. Хотя бы по осколкам. Отчитаться перед судьбой, которая тебе выпала. Спасибо памяти. Она на старости обострилась и лгать тебе не будет, если ты честен перед собой. Да и надо, чтобы не опозорить свою старость и оставаться в ней в том осколке, который должен быть отблеском всех остальных для заключительного слова обо мне. Подумал, и заглянул в начальный осколок.

Свою малую родину – староверскую деревушку в таежных дебрях Сихотэ-Алина в стороне от большего поселка леспромхоза, где сосредоточилась власть и была начальная школа, покинул он в 43 году в разгар Великой Отечественной войны, когда ему было 14 лет. За спиной семь классов, страстное желание стать моряком и попасть на фронт. Оно появилось не только от таких книг как: «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», но и от однорукого фронтовика – учителя физкультуры, бывшего торгового моряка, защищавшего Севастополь уже в морской пехоте и потерявшего руку при подрыве гранатой фашистского танка. Одна его тельняшка на распахнутой груди с медалью «За отвагу» – наполняла неискушённую душу подростка восторженной завистью. Не говоря о его рассказах о морских рейсах.

Учитель, по воли судьбы оторвавший его от моря, угадав своей открытой морской душой все, что зарождалось в мечтах в деревенском паренёчке, недолго думая, посоветовал ему

от всего сердца:

– Дуй-ка ты, Никанорка, полным ходом во Владивосток. В торговом флоте не хватает настоящих моряком. Многие из нас на фронт ушли и еще не вернулись, а вернулись, так вроде меня. И пароходство набирает мальчишек. Обучают их в море. Рейс, два – и ты моряк. Устроится, я тебе помогу.

А Никанорке то и надо было. Попрощался с мамой. Ее жалко было оставлять. Он у нее был один. Муж, его отец, ушедший на фронт в начале войны, погиб. И он, глотая слезы, пообещал:

– Мамка, я вернусь!

– Вернись, – повторила она, как заклинание, и выпустила его из своих материнских объятий.

На том и расстались.

Но так и застрял этот начальный осколочек жизни в душе. А за ним пошли блики на волнах, как в песне: «Напрасно старушка ждет сына домой/.../ «А волны бегут от винта за кормой и след их вдали пропадает».

А блики были. Сейчас в них мало кто поверит. Впрочем, так было всегда.

Пароход Дальневосточного морского пароходства, на который он был направлен машинным учеником, делал по Ленд-лизу челночные рейсы между материками восточной Азии и северной Америки через бурные широты Тихого океана вдоль Камчатки, где была меньшая вероятность быть торпедированным. В историю Дальневосточного морского

пароходства они войдут как Огненные рейсы. И не для красного словца. За годы войны были потеряны пароходством 25 пароходов, идущих в одиночку. Торговые моряки пароходства уходили в рейс, готовые ко всему как фронтовики, идущие в атаку. И частью их были юнги. И он в их числе. Во втором рейсе он уже стоял ходовую вахту. И не только вахту. По боевой тревоге мог мигом быть и в шторм, и в штиль, и в любое время суток у эрликона. А по шлюпочной срывался с койки и мчался к своей приписанной по расписанию спасательной шлюпки. Все могло быть. И было. Тонули юнги вместе со всеми, а было им в среднем по 14 -15 лет. Памятник бы пацанам поставить в торговом порту Владивостока и не в тельняшке да бескозырке, а в джинсовой робе и в задних карманах расклешенных брюк с мореходкой и пачкой сигарет «Кэмел». А какие для ребят в Америке соблазны были. Все магазины переполнены товарами, от которых неискушенные глаза разбегались. И в продуктовых чего только нет. И никаких очередей. Купишь что, тут тебе и «Танькью», да еще и с улыбкой. В каждом подъезде автоматы с мелочёвкой. Сунешь цент, тут тебе и напиток любой, да еще охлаждённый, сладости разные, сигареты. А туалеты какие, ребятам и не снились. Сядешь – и вставать не хочется. Какая война. Их и усыновлять предлагали. Да какое там. Маму забыть. А Родину!? Она в беде, а он будет на чужбине в шикарном галюне нежится. Предателей среди них не было. Только домой, только к Родине приплыть, доставив груз фронту в полной

сохранности и не уйти дно. «За русалкой на мертвое дно» как говаривали просоленные моряки.

Но его Бог миловал. Видно, мама усердно молилась святой Мадонне с младенцем на руках. Деревянная Икона ее, сколько он себя помнил, висела в доме в Красном углу гостиной. Доска потемнела. Пошла трещинами. Но святые лики на ней время хранило. Они были светлыми. И Божия Матерь оставалось в вечной заботе о своем чудо-сыне. И благостное материнское чувство ее сохранить свое чадо передавалось каждой родительницы, которая смотрела на нее с душевной надеждой и верой. Мама была из тех. Она в поклонах своих и молитвах, просила святую Икону оберегать в Океане и ее Никонорку.

Смотрел в следующий осколок и гордился сейчас, но не собой, а всем что происходило в его любимом Владивостоке.

Стоянки во Владивостоке были коротким. Пароход в девять тысяч тонн военного груза на борту разгружали за несколько суток, моряки порой и на берег не успевали сходить. И вся надежда была на скорую победу.

Она пришла. Встретили ее по ту сторону океана. Ликовали всем миром, как кровные братья на планете. С причала неслось: «Рассшин – виктория! Сталин – виктория!» А Николаю скорей бы во Владивосток да маму обнять.

И тут известие, как гром среди ясного неба: в проливе Лаперуза потоплено в полном грузу самое большое судно Дальневосточного пароходства «Трансбалт», идущий уже в от-

крытую со всеми сигнальными огнями из Америки во Владивосток. Утонуло пять членов команды. Среди них его одноклассник машинный ученик Алеша Малявин. С ним он попрощался в Сиэтле при отходе. Пароходы стояли у причала корма к корме. Алеша махнул куском масляной ветоши, как гордым атрибутом. Носили ее юнги в заднем кармане рабочих брюк навывпуск, чтоб все видели, что они из машины команда и никакие-то там маслопупы, как их называли палубные ученики, а кочегары да машинисты. А палубу шваброй драить всяк салага сможет.

– Встретимся в Фиалке, – уверено заверил Алеша, улыбаясь во весь рот.

Фиалкой торговые моряки прозвали скверик у летнего цирка, неподалеку от ворот в порт, видимо за то, что девушки Владивостока встречали их там всегда с букетиками фиалок, такими же по-весеннему нежными как их глаза, открытые ресницами для первой любви.

– Завидую, – тоже махнул своей ветошью Николай. – Нам еще стоять да стоять. Что-то с погрузкой на этот раз резину тянут...

Вот и позавидовал. И заныло в памяти из той же песни торговых моряков: «Напрасно старушка ждет сына домой».

В конце июля, возвращаясь во Владивосток, на месте гибели «Трансбалта» дали длительные гудки. Вся команда, свободная от вахт, вышла на верхнюю палубу. Почему-то с вызовом ждали японский крейсер, всю войну курсирующий

в проливе Лаперузы с проверкой торговых судов ДМП. Но его не было.

– Затаились япошки, – выдавил из себя пожилой боцман. – Чувствуют чья собака кость съела. Но подождите она у вас в горле встанет. – и, забывшись, впервые плюнул против ветра.

А темные волны бились о борт, скрывая тех, кто никогда не всплывет из холодной глубины в том числе и Алешу.

И этот осколок до сих пор колит сердце.

Николай тогда еще не знал, да и не мог знать, сколько его сверстников осталось в глубине Тихого океана. А их было: 13 мальчишек и в основном по 14 лет. Их имена на черном граните на берегу Золотого рога.

Его пароход со спущенным флагом миновал злосчастный пролив и благополучно пришел во Владивосток. Казалось бы, теперь можно было взять долгожданный отпуск или хотя бы отгулы за время непрерывной работы – и к маме. Небось наслышалась. Но опять: не тут-то было.

И этот осколок вспыхнул в памяти.

В первые дни августа, после разгрузки, пришел приказ – встать на рейд, быть в полной готовности и команду на берег не отпускать. Моряки терялись в догадках. Но не долго. Девятого августа была объявлена война с Японией. Пароход вошел в действующий Тихоокеанский флот и тут же, пришвартовавшись, взял на борт пятитысячный десант из лихих рокосовцев. Под покровом ночи вышел курсом в порт Сейсин.

А Рокоссовцы, воодушевленный невидимым морем, под аккомпанемент трофейных немецких аккордеонов, горланили: «Наверх вы товарищи! Все по местам!» Старпом едва разогнал их по трюмам, сказав, что пароход – это ни окоп под Сталинградом на берегу Волги. Привлечете криками подлодку – и всем скопом «умрем под волнами».

При подходе к порту шестнадцатилетний моряк из Никонорке превратившись в кочегара 1-го класса Николая Долганова после ходовой вахты напросился у старпома вперед смотрящим на баке. Но сколько не напрягал зрение ни перископа, ни следа торпеды не обнаружил к своему сожалению. Но, не успел пожалеть об этом, как по носу раздался взрыв донной мины. К счастью, взрыв не произвел много вреда, видно мина взорвалась раньше времени. Но водяной толчок был такой, что нос парохода подбросило. А Николая выбросила с полубака за борт. Вынырнув, он бессознательно ухватился, как за спасательный круг, за что-то плавающее перед ним. Но тут же отдернул руки. Перед глазами был распущенный труп самурая. Едва не стошнив и в страхе отпрянув, оттолкнул его ногами и начал суматошно молотить ими по воде, стараясь отплыть подальше, глядя в небо и вздохнул дыша его чистым воздухом. Но ему все казалось, что труп, то поднимаясь, то опускаясь горбом своим, старается догнать его, как акула.

Старпом, выбежав во время взрыва на крыло верхнего мостика и видя члена команды, который беспомощно барах-

тался в воде да еще возле трупa, бросил свое гибкое тело с небесной высоты за борт. В считанные минуты оказавшись рядом, отплеываясь, бросил, как выговор:

– Салага! Ты что плавать не можешь!?

– Да могу... Могу я, да тут японец... Я думал он живой, а он.., Кто его так, человек ведь, – ошалело отвечал Николая, повернувшись со спины на грудь и поплыв в размаху.

– Тогда двигай за мной.

Они одновременно подплыли к штормтрапу, который свесил им по борту боцман.

Николай ухватился за балясины, но не полез, уступая место старпому.

– Жми первым, – подтолкнул его старпом, нарушая субординацию. – Тоже мне нашелся...

На палубе Николая окружили Рокоссовцы. Один из них протянул ему трофейную губную гармошку, сказав:

– Держи, моряк, будешь играть, когда самураев ваших расколошматим также, как фрицов, и помнить, что ты в этом был участник.

После первого десанта был второй: На Южный Сахалин. Потом – третий, на Курилы. Там и услышали объявления генералиссимуса Сталин об окончании Второй Мировой войны. Запили радость японской «жми-дави», так прозвали наши победители баночки с ватой, пропитанной спиртом, которую самураи, поджигая, спаслись от морозов во время холодной зимы. И запас которых хранился в каждом непри-

ступном доте, и как нельзя кстати пригодился нашим гвардейцам после десантов, когда приходилось бросаться в ледяную воду, чтобы достичь каменистый берег курил.

А моряк Коля, причастный к этому, был уверен: теперь во Владивосток – и наконец-то к маме, увидеть ее и одарить теплой канадской кофтой и диковинным японским кимоно из цветастого шелка. А о деньгах, которые накопил, не тратя зарплаты, – всю немалую сумму ей. Живи, дорогая, и не знай нужды. Да о какой нужде теперь говорить. За морем живут люди и в помине, не зная никакой заботы. Теперь заживем и мы не хуже, а то и лучше. С товарищем Сталиным нам- все нипочём.

Но, не заходя во Владивосток, пришли в порт Дальний, загрузились солью и ушли на Филиппины. А там с разгрузкой не торопились. Несколько месяцев томились в тропической жаре, благо еще, что на рейде. Потом ушли в Гонконг на годовалый ремонт и после него – по кругу шарика.

Вернулся пароход во Владивосток, когда при плохой, да и секретной тогда связи, родственники моряков их уже не ждали. Николая вызвали в кадры и молча протянули ему телеграмму. В ней было коротко: «Мама твоя почилa» И подпись: «Крестник». Он с трудом соображая, глухо спросил: «Когда пришла?» – «Да год тому назад». И предложили:

– Можете взять отпуск.

– Поздно, – сказал он, глотая слезы от острого осколка, застрявшего в горле.

Тогда он сдавал экзамены в среднюю мореходку, о которой мечтал все последнее время. Как и все его сверстники, бывшие юнги огненных рейсов, ставшие рядовыми специалистами первого класса, которые все еще были прикрыты «броней». Их не призывали в армии, не увольняли по желанию.

Отпускали только на учебу. Дальневосточное пароходство все еще остро нуждалась в кадрах. Особенно командного состава. Тут им все льготы при поступлении. Даже на экзамены смотрели спустя рукава. Но какие знания остались у ребят, окончивших школу несколько лет назад. В учебе наверстают. Было бы желание. А желание увидеть себя капитаном или стармехом – хоть отбавляй. Только не упускай случай. Он решил, сдерживая порыв сердца, маму не вернешь, да и время посетить родную могилку еще будет впереди, а случай «шаровой», навряд ли подвернется еще. Не используешь – не реализуешь выпавшие тебе возможности. И на старости будешь кусать локоть с досады такого упущение.

После окончания мореходки получил рабочий диплом третьего штурмана. Стал наплавывать непрерывный стаж, чтобы получить, не затягивая резину, диплом второго, а за ним и капитана. Стал им. Тралил рыбу на сельдяных, да камбальных банках. Потом принял китобойц. Азартная охота его устраивала. Да и хорошо оплачивалась. А ему это было на руку. Он уже был женат и надо было свить гнездо, где молодая жена могла стать матерью.

Встретил он ее случайно, а может быть и нет.

Выглядел он тогда залихватски. Уже был капитаном зверобойной шхуны. Выгробался на берег в том же, что и в море не снимал. И не стеснялся. Мог бы и в синий костюм облачиться с белой сорочкой и черным галстуком. Но хотел видеть себя и на берегу, таким каким был в море. Всегда в кожаных рыбацких ботфортах, с высокими голенищами, вывернутыми до колен, в просоленной куртке без всяких регалий. И грудь – нараспашку. На бесшабашной голове лloydовская штурманская фуражка с широким козырьком. Каждой портовой девчонке ясно – настоящий морской волк перед ней и будет ждать его как Асоль. Мечтал о такой. И встретил неожиданно возле кинотеатра «Комсомолец». Она стояла в толпе у касс, в ожидании случайного билетика. Прошел бы мимо. Но это была та, образ которой носил в своем сердце. И остановился, не веря своим глазам. А она спросила: «У вас лишнего билетика не будет?» – «Нет, так будет! – ляпнул он, уже сознавая, что и этот счастливый билет и его надо вытянуть. Иначе – жизнь не в жизнь. И, чтобы не оплошать, заявил: «Но два – и рядом. Согласна?» – «Согласна» – быстро ответила она. Он – к администратору. У нее как всегда были в запасе билеты для таких как он. Торговые моряки и рыбаки во Владике были в почете еще с войны и Огненных рейсов по ленд-лизу.

Они вышли из кинотеатра, чтобы никогда не расставаться.

Так и жили, и вскоре начали ждать ребенка.

Решили, что декретный отпуск она проведет у своих родителей. Те жили в деревни, в четырех часах езды на автобусе.

– А потом, – пообещал он жене. – наконец-то, я во главе своей семьи, что будет моим оправданием в долгом отсутствии, заявлюсь на мою малую родину. Ты согласна?

Попробуй с тобой не согласиться, – прижалась она к нему так, что у него дрогнула душа в каком-то предчувствии.

Отправил жену с легким сердцем, пообещав навестить в выходные дни. Но вечером ему позвонили. Глухой голос сказал ему, чтобы он приехал в городской морг для опознания.

– Для опознания, – переспросил он, еще не сознавая откуда ему звонят.

– Кого?

– Вашей жены....

– Кого черта! – взорвался он, уже холодея. – Моя жена уехала в деревню.

– Автобус сбила встречная машина, – устало, но бесстрастно продолжал голос. – Он упал с моста в реку. Погибли все пассажиры.

Он ехал в морг все еще на что-то надеясь. Поверить не мог. Казалось ему, что если случилось для него неповторимое, то все люди вокруг него сейчас должны быть другими, должны быть поражены, как и он. Но они все так же переговаривались, шутили, молчали, не обращали на него никако-

го внимания, будто он был в таком же состоянии, как и они. А может ничего и не произошло. А если бы произошло, то гудел бы весь город. Столько людей сразу. И это не в море где-то во время губельного шторма, а на берегу. Не может быть такого. Не может! Теплилась надежда, пока не зашел в стылый морг.

Ее вздутое застывшее тело лежало на голом топчане, небрежно полуприкрытое серой простыней. Лицо было мраморным. Какое-то удивление застыло на нем навечно. Глаза были закрыты.

Он упал на колени, боясь дотронуться. Шепотом просил, почти теряя сознание:

– Открой глаза, открой глаза....

Едва вышел из морга. В голове стучало: «Ну, почему не я? Почему не я!? Как я мог послать. Я не чувствовал, не позаботился, как она обо мне, когда в десятки тысяч миль от нее, в Антарктике, ночью в снежном заряде мой китобойц едва не врезался в айсберг. И она на таком чудовищном расстоянии от меня почувствовала это. И утром радист принес радиogramму: «Милый беспокоюсь сообщи срочно как ты люблю целую тебя».

Вручая ее, молодой радист восхитился:

– Вот это жена! Надо же так... Она будто была рядом, а то и вместе с нами.. Мне бы такую....

– Ищи и найдешь. Какие твои годы – тогда отшутился Николай Фотейвич, сам растроганный до глубины души пред-

чувствием любимой.

А сейчас терзал себя: «А я, провожая, не обратил внимания на предупреждение сердце. Отпустил ее. Как мог!?

На похоронах словно окаменел. Товарищи советовали:
– Заплачь, капитан, душе легче станет.

Да и старушки со стороны ее родителей нашептывали молитву; «Зряще мя, безгласна и бездыханна предлежаще, восплачете о мне. Все любящие мя, целуйте мя последним целованием».

Он прижал свои вздрагивающие губы к ее холодному марморному лбу. Но «восплакать», не смог. С юности был приучен: «Ты моряк! А это значит: моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда!» Готовила это военная песня его к душевным испытаниям, но к не таким же. И все же, собрав всю свою волю держался, не давая расслабиться на виду у всех, как на глазах своей команды. И только ночью, прижав к себе подушку, еще пахнущую родным телом, разрыдался и не мог успокоиться до утра. Ее закрытые глаза все были перед ним. Он, как в беспамятстве, чувствуя свое бессилие, свою беспомощность вновь умолял:

–Открой глаза. Открой!

И чтобы забыться залил этот осколок водкой. Да разве залешь. Взял себя в руки и зажил в одиночестве. Что-то было заложено в нем его предками и материнским молоком: любовь с первого взгляда и навсегда. Заставляло жить по мере сил и духа, не представляя себе другую семью и те глаза, ко-

торые в памяти не угасали.

Все еще был крепок. Свою «легкую морскую походку» держал. Был высок и не сутулился. Сверстницы на него заглядывались, да и те, что были моложе его и намного. Но он был непреклонен. «Однолюб», – завидовали они той, которая жила в его сердце.

Таким и вышел на пенсию. Но работу не бросил. Подменял капитанов, уходящих в отпуск, а то дежурил на списанных пароходах. О малой родине словно забыл. Да и родная могилка держала, как якорь за твёрдое дно.

Она для него была как нечто, что хранила самое дорогое для него. И то был не прах под землей. Она сама с холмиком, с бюстом, на женственном, округлом лице которого из белого мрамора неизменная улыбка радости, той которой встречала его всякий раз, когда он приходил с рейса, хранила в себе что-то такое, что жило в его душе, составляла явную сущность вечно живущего в нем, но молчаливого. И вместе с тем благодарное тому, кто приходит к ней, убирает ее, склоняется над ней. Она чувствует это. Ему казалось, что могилка вобрала в себя, что было похоронено им, но осталось в памяти. И она теперь воплощение этого. Но живет в ней. И будет жить пока он ее посещает. Она успокаивает, облегчает его печаль. И не только: чем бережнее он за ней ухаживал, тем сильнее было ее чувство к нему. И наполнял его какой-то душевной силой, которая от нее исходила.

В юбилей, в марте 1980 года в самый разгар неразберихи

в стране с опустевшими прилавками в магазинах с ваучерами – зарокотом быстрого обогащения, с провалом всего что была наработано, рассматривая свой архив, наткнулся на пожелтевшую телеграмму. Едва разобрал блеклую строчку: «Мама твоя почил Крестник» И она уколола сердце давним уколом. И он сказал себе, будто оправдываясь перед самим собой: «Лучше поздно, чем никогда. Да и время такое, впору самому ноги протянуть. И моя могила встанет вместо меня. Но некому будет ее посещать. А как же та, которую я всегда посещаю, не говоря о той, над которой я до сих пор не склонил голову и не прибрал.

Успокаивая себя и боясь, как бы опять судьба не внесла свою коррективу, пришел к могилке, чтобы уверить себя и ее, которую оставляет без присмотра, может быть навсегда, в том, что иначе поступить не смог.

Убрал толстый слой листвы, всю зиму согревающий ее, как одеяло. Положил у изголовья печальный букетик. Склонился над ней. Пригладил землю. Смахнул слезу, будто расставаясь навечно. Все же годы не те, когда говоришь: «До свидания». А она ровно благословила его, шепнув: «Могилка мамы запущена. А на ней крест стоит. И он покосился».

Собрался быстро. Да что одинокому. Котомку на плечи – и странствуй.

Товарищи, его коллеги по добывающему рыбацкому флоту, такие же пенсионеры как он, с которыми коротал время на берегу Амурского залива, вспоминая минувшие дни и

рейсы, где бывали они, говорили ему не без завести:

– В деревню, да весной. Глядишь и расцветешь, капитан, как одуванчик.

– Это я-то...

– Какие твои годы. В самый раз на свежий воздух. И на редисочку.

– Хватит болтать. На погост еду. Долг отдам. И назад.

Примолкли было. Запили печальное пивом и опять за жизненное:

– Прихватить бы тебе на всякий случай как прежде, когда мы к родителям в деревню ездили, наших баночек с крабом, с селедочкой, с сайрой в оливковом масле, а то и тресковой печеночки. Да где их взять. Плавазаводы наши консервные проданы на гвозди. Прилавки пусты. А в деревнях что... Поминать-то чем будешь. Да и с земляками встретишься не с пустыми руками. Мало ли что. И советовали:

– Хоть колбасы прихвати. И не забудь про бутылку. Она сейчас везде и всюду в самый раз.

– Отпадает, – возразил он. – Насколько я знаю, мои староверы народ не пьющий.

И от бывшего судового помполита, обычно помалкивающего в сплоченной компании, уже привыкшей вести свободный разговор со стаканчиком винца или бутылкой пива не оглядываясь, услышал партийное назидание, не требующие как бывало возражения, да еще и с угрозой:

– Капитан, считаешь себя старовером!? Раньше что-то не

говорил об этом. А сказал бы, то партийный билет выложил бы на стол как пить дать.

Николай Фотийвич посмотрел на него с удивлением. Опять за старое. Да и откуда такая вражда у него к старове-рам. Он их и в глаза не видел. И надо же. Разве что родители его переселенцы из Украины. И были у них стычки со ста-роверами. Те их не уважали. Помнил, что отец их хохлами звал. Но дело не в этом. Сейчас-то зачем такую угрозу, ей уже цены нет. Как и партийного билета. Но, видно, крепко засели в помполите его партийные догмы. И сейчас хлебом не корми, чтобы использовать их и показать себя, что ты на-стоящий помполит перед лицом всех.

Он знал по работе таких. С войны помполиты в судовой команде. По штату – 1-й помощник капитана со всеми со-ответствующими регалиями на рукавах и на фуражки. Боль-шей частью без всякого морского образования до и обычного тоже. Но проштудировал на партийных курсах основы Марк-сизма – Ленинизма, «Историю ВКП/б» и биографии Лени-на, Сталина. Они у него в каюте, как на показ, – на столе. И в любой шторм, как принайтованные. Не сваятся. Пар-тийный воспитатель каких поискать. А по существу: на суд-не – первый бездельник. Никакой вахты не несет. В работе – только в авралах во главе.

Как-то в порту США чиновник от власти, проверяя штат команды, спросил у Николая Фотийвича:

– Что-то у вас помощников капитана четверо. Трех вам

не хватает?

Впервые Николай Фотейвич замялся с ответом.

Чиновник понятливо качнул головой.

– Понятно, почему у вас нет безработных.

В то партийное время, такую угрозу, сказать честно, Николай Фотийвич бы молча проглотил. Но сейчас в сердцах отрезал:

– Я в душе считал себя от роду – старовером. И это не мешало мне идти по заданному партией курсом.

– А я коммунист! – парировал помполит.

И это вызывало уважение к нему. Несмотря ни на что, он не изменил своим убеждением -быть нравственным, и не вилять туда-сюда в зависимости от ветра. И отвечать за каждого члена команды заграничплавания, который мог нарушить это. Были и такие, которые давали драпа за границей. Чужая душа – потемки, тем более для закоренелого атеиста, который в своей-то разобратся не может и порой завидует священникам, которым всяк открывает душу.

И тогда шел под арест на несколько оставшихся лет – помполит. Вроде бы верно. Кому же ещё, тем более там, где каждый отвечает за свое. Но тут как бы не так. Вместе с ним шел и капитан. Так что, что тут делить между собой. Бери выше. Это сейчас все ясно. Но тогда было еще ясней. И никто не роптал. И если повезет, то вместо того, чем в мерзлый забой, в бухту Находка порт строит. Там ребята и на «Жучок» пристроят по специальности – капитаном. А помполита для пе-

ревоспитания к себе взять матросом. Пусть концы потаскает – в будущем пригодится.

– Да кто спорит, – пожал плечами Николай Фотийвич, зная, что перечить такому помполиту, это плевать против ветра. И сказал миролюбиво. – Я тоже коммунист. Да все мы коммунистами были даже беспартийные. Точно, ребята?

– Да кто сомневается, – ответил один за всех.

– Я! – сказал помполит. – Ибо никто из вас не встал на защиту партии, когда ее запретили. Да и я тоже.

– Поэтому ты меня не осудишь, – улыбнулся Николай Фотийвич, чтобы оборвать острую тему, – если я вместо «Марксизма – Ленинизма» все же возьму в дорогу то, что посоветовали товарищи.

Но все-таки водку брать не стал. А на всякий случай, схватил плоскую бутылочку японского виски грамм на 250 с маленьким стаканчиком на горлышке. Будет чем помянуть. И то ладно.

Глава вторая.

В П У Т И

В автобусе дальнего следования, размягчено устроившись у окна, с какой-то душевной взволнованностью вспоминал ту трепку, которую задал ему отец в начале тридцатых. Было же такое. Нашел что вспомнить. Значит, она имела какое-то

значение, что на всю жизнь врезалась в память.

Кончались тридцатые годы. Отгремели славой Хасанские события. Вся страна пела: «Мчались танки, ветер поднимая
Наступала грозная броня
И летели наземь самураи под напором стали и огня».

Было ему тогда десять лет. Его приняли в пионеры. Пришел домой в красном галстуке. Думал похвалит отец. Но тот пришел в ярость. Никогда он не виде его таким. Он сорвал с себя сыромятную опояску и начал хлестать ею, крича с пеной у рта:

– Павка Морозов объявился и в моей семье. Антихристо-во семя. Пакостник. Тот отца родного властям выдал. Он кормил его, поил, одевал. Работал, не покладая рук, а он его за кулака выдал. И ты за этим в школу ходишь!? Варнак! Еще раз этот ошейник напаялишь, шкуру спущу. Мы от этой власти в тайгу ушли, чтобы ее век не видеть. А ты к ней липнешь. Скажи еще в школе, что ты из староверов, так тебе все дороги будут закрыты.... И чему учат... Безбожники... Вот тебе! Вот тебе! – И тонкой, как плеть, опояской по заднице, благо прикрытой штанами из «чертовой кожи».

Мать пыталась защитить сынишку. Но и ей досталась. Отшвырнул ее, крикнул:

– Иди! Упади на колени перед Божией Матерью. Замоли его грех. Чему его в этой школе учат, на чо натаскивают...

Мать, встав на колени, истово крестилась. А Божия Ма-

терь с ребенком на руках – хоть бы заступилась. И сильная хлестка отца не ослабевала.

А Никанорка терялся: дома одно, а в школе другое. Пришлось ему хитрить, чтобы дома не били, а в школе не дразнили. Галстук, возвращаясь домой, он стал прятать под кочку.

В школе на уроках пения разучивали песню:

Пионеры, в бога мы не верим!

– А где же ваши боги?

– Наши боги скачут по дороге-

Вот где наши боги!

Пионеры, в бога мы не верим!

– А где же ваше Рождество?

– Наше Рождество снегом занесло-

Вот где наше Рождество!

Пионеры, в бога мы не верим!

– А где ваша троица?

– Наша троица – в три шеренге строиться-

Вот где наша троица!

Или:

Провались, земля и небо,

Мы на кочке проживем,

Бога нет, царя не надо.

Богородицу пропьем.

Как-то молодая учительница спросила школят, кем они

мечтают быть.

Один тут же ответил, преданно смотря в строгое око учительницы:

– Павкой Морозовым.

– Молодец! А ты, – кивнула она на другого.

– Чапаем!

– А ты, Долганов? – почему-то выделила она его фамилией, а потом уже с каким-то осуждением в голосе, ровно нагнувшись на что-то неприемлемое для нее в его имени. – Никанор. – повторила, ровна давая знать это всему классу по слогам. – Надо же – Ни-ка -нор.

Он было сжался. Но, набычившись, ответил:

– Моряком!

Как ему показалось, весь класс захохотал. А кто-то выкрикнул:

– Нашелся моряк, с печки бряк.

Так и пошло.

Он давно замечал какую-то предвзятость к нему, будто был виновен в том, что из староверов. Замкнулся в себе. Но отец заметил и сказал:

– Они завидуют тебе, потому что ты не таков как они. И будь таким как ты есть. Не давай себя в обиду. Давай отпор. Силенки у тебя хватит. Ты хоть мал, но ни баклуши дома бил.

Ко всему учился он хорошо. Память имел отменную. Все схватывал на лету. Природной смекалки не занимать.

Отец не против знаний был. Сам много читал. Радуюсь тяги сынишки к чтению, поучал: «Книжку не бросай. Для ума она, как оселок для ножа. Тупеть умишку не дает. Каждое буква в слове Книга не просто вписано. Запомни, буква К обозначат, что перед тобой – ключ. Н- найти. И – истину. Г- глаголом. А – автор. Заруби на носу. Мал правда и головка ишо пуста, но заполняй ее тем, что пригодится. Светлым, как родничок. Читай то, что тебя за сердечко хватает, как сказка кака».

Сам он воевал в первую империалистическую. Был пулеметчиком. Дослужился до Унтер-офицера. Едва с агитаторами не сошелся, которые в окопах призывали: «Долой войну! Штыки в землю – и по домам». Страдал за Россию, проигравшую войну немцам. Подвыпив бывало, кричал:

– Все евреи... Смутили русский народ. Сколько нас полегло зря. Всю царскую землю порешили. И все им мало. Крестьянство под корень своим серпом да молотом. Только и видим – Смерть и голод. Что творится. Пограничное казачество извели. И до нас добрались. Сколько наших староверов ни за что, ни про что в тайге выловили и во Владивостоке под расстрел подвели.... За что!? За то, что мы русские. Что богатство наше в труде. Не пройдет им это. Никанорка, читай «Бородино». Душа русская хочет....

И каждый раз, когда, тараща от испуга глаза, приходилось цитировать

уже на память: «Не будь на то Господней воли, не отдали

б Москвы!» Глаза отца наполнялись слезами. И сам вторил:

Да были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя

Богатыри не вы. . . .

Запомни это! Запомни, тебе жить. . . .

А мать умоляла:

– Чему учишь. Хочешь, чтобы антихристы эти и мальчонка забрали. У них ума хватит всех нас извести. Глаза-то завидушие. Злоба в них на добро. Прости мя Господи.

Началась Отечественная война. Фашисты подошли к Москве. Отец добровольцам ушел защищать русскую столицу, говоря: «Старообрядчество наше – это одно. А за Русь нашу постоять – это, однако, другое. Святое дело выше которого нет».

Никонорке, устраиваясь в пароходство, пришлось скрывать свою родословную. Бывший торговый моряк заграничаванья, поручившийся за него, предупредил:

– О староверстве забудь, не упоминай в анкете. Иначе загранички тебе не видать, как своих ушей. А мне – моего партийного билета.

И догадался он по уже знакомому наитию, заполняя анкету личного дела, и имя свое поменять на Николая, и о родословной ничего не ответить, сославшись на незнания. Да так оно и было. А чуткие люди в кадрах махнули рукой: каков с мальчика спрос. Но об отце написал правду, которую тогда у него мальчика никто не мог отнять: «Погиб смертью храбрых,

защищая Москву». Но что греха таить, прикрывался этим и дальше по мере своего служебного положения вплоть до капитана. Так и жил: на лице одно, на душе другое. И привык, вроде так и надо было. Накренишься посильнее на левый или на правый борт – тут тебе и трепка почище отцовской.

И вот едет вроде бы для того, чтобы во всем признаться землякам и очистить душу. Но живы ли они и цела ли их деревушка.

За окном автобуса ничего утешительного. Сердце сжималось от жалости. Переживал за всю огромную Советскую страну как за свое личное. Так уж был воспитан. Знал по наслышке, что происходит по весям. Но не представлял, что все настолько плохо. Навстречу поток КАМАЗов, груженных под завязку оголенными бревнами и один к одному. Казалась, вырубают тайгу нещадно и торопятся вывезти как ворованное, а то и запрещенное к вырубке. Чем дальше в глубинку – тем хуже: опустевшие деревни. А каждая чья-то малая родина. А объединенные в одно – наша страна. Скотные из кирпича сараи без крыш, запущенные поля, одинокие коровенки. На остановках висели одни и те же объявления, вроде: «Продается дом с участком в 15 соток. Имеется колодец, баня, сарай для скота. Можно взять в аренду. Все по договоренности». Что это? Почему так? Земля ведь не изменилась. Всему крестьянству давала работу. Есть земля, есть хозяин, причем зажиточный, были бы руки и чтобы они на себя работали, на сколько это возможно. Сколько крови про-

лито за это. Но как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Где оно крестьянское сословие в огромной сельскохозяйственной стране? Оно выживало при крепостном праве. При освобождении имела свой голос, добиваясь земли. А при большевиках, которым поверила на слово- опять влопалось в зависимость, теперь от государства и под разливные песни в колхозах «Прокати меня милый на тракторе» в одночасье сошло на нет. А он не верил. Да и голову не вкладывалось, как возможно. Без крестьянства и России не будет, ибо оно единственное сословие, которое кормило из века в век все мелочные но всеильные сословия, надстроенные над ним, ибо это была его участь, уготовленная Создателем.

Выезжая бывало с женой после очередного рейса подальше от города, на природу, по которой истосковалась душа, они видел: ухоженные поселки с водонапорными башнями. Кирпичные сараи для скота. Стада упитанных коров на лугах. И поля, поля с ровными рядками прополотых овощей и густой зеленью картофеля. Душа радовалась.

У деревень доброжелательные старушки сидели рядом на низеньких стульчиках, от души предлагая все, что на родной земле вырастили: помидорчики, огурчики, свежо початки кукурузы, редисочку, разную молочку в стаканчиках с чайной ложечкой. Все свежее, чистое и дешевое.

Как-то на его глазах, дальнобойщик, затормозив свою громадину, подошел к крайней старушки, попросил осипшим голосом:

– Мне бы ряженки, мамаша, да не стаканчик, а два, а то и три.

Выпил не сразу, а смакуя. А потом, облизнув губы:

– Эх какая прелесть... Спасибо, мамаша. Дай бог вам здорье, – и, протянув деньги, пошел к машине

– Постой, – попыталась остановить его старушка. – Возьми, сынок, сдачу. Мне лишнего не надо.

Дальнобойщик обернулся:

– Это, мамаша, не лишнее вам. Это премиальные за непосильный труд ваш, без которого я бы навряд ли дотянул до дома.

– Да какой непосильный, – возражала старушка ему вслед. – Труд на земле – нам в радость. А то бы сидели на старости лет, сложа руки.

Но как же не поступить также, как дальнобойщик. Что-то родное трогало душу.

За окном автобуса вдоль трассы кое где все еще висели выцветшие плакаты с бодрым портретом последнего генсека и его напутствующими словами: «Хорошей дорогой идете, товарищи!».

А дорога пошла вся в черных заплатах асфальта и в еще не закрытых им выбоинах. Слышно было как шофер в сердцах чертыхался с трудом успевая объезжать их. Но примолк, когда и такое покрытие кончилось и за автобусом потянулась густая пыль.

Николай Фотийвич, надеясь услышать что-нибудь обна-

дѣживающее спросил наобум у хилого мужичка, дремавшего напротив:

– В деревнях все еще поют?

Тот хмыкнул:

– Какие песни... Деревня плачет.

– Есть причина?

– Да еще какая. – оживился мужичонка. – Колхозы, совхозы похезала новая власть. Не землю пай выдали. Рабочему классу – ваучеры, а нашему – пай. А этаже не твои дачных шесть соток. Цельный гектар, а то и боле. Чем обрабатывать!? Лопатой да тямкой! Технику бы какую в придачу. Ан нет! Перебьетесь! Да не только в этом дело. Мы ведь отвыкли единолично работать. Начальство нам подавай. Без него и задницу не оторвем от лавочки. Сидим, смалим часов до десяти. Че нам. Советска власть сколько не старалась колхозами да совхозами, а собственника земельного из нашей души не выбила. Испокон веку оно.

– Ну, сейчас свой гектар. Как же не работать....

– Так я и говорю. Отучили нас самим-то. Привыкли к начальству. Придет горластый бригадир. Понукнет нас матом, мы и пойдем. А теперь начальство-то нет. Одни хозяева. И мы от неча делать пропили наши пай, а то и отдали за бесценок бывшему начальству как оно и задумало.

– Не жалко?

– А че жалеть-то. На жалились за 70 лет-то. Все наше, а теперя мое. Куда хочу, туда и ворочу. А ты сам-то, вроде го-

родской, а в деревню едешь. Замыслил что. Не песни ли по деревням собирать. Разруха наша заставила.

– Да что-то вроде этого, – сказал Николай Фотейвич, – Но сам говоришь, песню где услышишь. . . .

– Легче легкого. Поставь бутылку, и любую споют, как в кино – засмеялся мужик. – Помнишь небось: «Свинарку и пастух», «Кубанские казаки» Не жизнь колхозная наша, а малина. А малина-то внутри гнилая оказалось.

«Как же мои староверы в своей таежной деревушки, застану ли кого?», – переживал Николай Фотейвич.

Автобус, сбавляя ход, надсадно заскрипел тормозами.

– Вот и моя деревня. Можешь выйдешь со мной. Я тебе столько голосистых певцов найду, хоть отбавляй. Но не без этого, – и, мужичок, щелкнув себя по горлу, прытко вышел.

Автобус последовал дальше. Вскоре въехал в ту деревню, в школе которой ему, Никонорке когда-то торжественно навязали красный галстук пионера. Поискал глазами школу. На ее месте стояла другая, двухэтажная с большими окнами и парадным многоступенчатым подъездом. Возле него высился валун с выбитым силуэтом танка и чугунной плитой с черным списком. Вспомнил своего учителя по физкультуре. «Наверное, и он в этом списке». И невольно окинул ищущим взглядом спортивную площадку за школой, где в его годы, было лужайка, по которой учитель гонял их строем. На площадке стояли волейбольные столбы с порванной сеткой и другие спортивные снаряды. Она была окружена повалив-

шейся оградой. И ее весеннюю травку пощипывали шустрые козы.

Из школы шумной ватагой выбежали школьники разного возраста. Ни на одном мальце не было красного галстука. И Николай Фотийвич решил с сожалением: «Видно, теперь гонят тех, кто приходит в школу с красным галстуком».

Больше не на чем было остановить взгляд, чтобы увидеть что-то крестьянское, что все еще жило в его душе, как у каждого русского будь он и городским от пятого колена.

У одного из многочисленных еще крепких кирпичных сараев, но пустующих, толпилось большое стадо овец, которое пытались куда-то направить два всадника то ли монголов, то ли калмыков. А так бы хотелось увидеть какого-нибудь бо-соного Ванюшку с тонкой плетью в ловких руках.

Еще бросился в глаза продуктовый магазин возле которого в ожидании, когда рослый парень в белом халате выгрузит из грузовичка хлеб, стояла очередь как прежде. Но прежде за колбасой, а теперь за хлебом.

Автобус остановился. Шофер облегченным голосом объявил:

– Конечная! Выходи, дед.

Николай Фотийвич, не поверив, переспросил упавшим голосом:

– Как конечная!? Не может быть. Дальше же еще была деревня. И к ней дорога была, если мне еще память не изменяет. Правда, не для автобусов. Их тогда и в помине не было.

Но сейчас-то. Там же люди живут... Или нет уже той деревушки....

– Да есть вроде бы... Видишь сворот. Дорога проселочная почти заросла. Но все еще протоптана. Местные пассажиры говорят на отшибе, в километрах двадцати отсюда, а то и белее, в тайге староверы живут сами по себе, – то ли с завистью, то ли с осуждением сказал шофер, но не было в его голосе безразличия, а был интерес. – Надо же. По всей трассе запустенья, глаз бы не смотрел. А они в тайге. И город им не нужен. Уже сколько на этой трассе, а подвозить не приходилось. Ты, дед, из них что-ли. Вижу из города, в гости что-ли к ним. Или так, из любопытства... Подвез бы тебя, да и сам посмотрел. Но дорога – не пройти, не проехать. Так что, дед, придется тебе на своих двоих по такой дороге. В твои бы годы дома сидеть. Ну что? выходишь, или назад....

– Отрабатывать задний я не привык, – твердо ответил, выходя Николай Фотийвич. – Дедом в море не был. И давал команду – «Полный вперед»! Так что спасибо, сынок. И помни – дорогу осилит идущий. Тем более, когда она ведёт тебя к родовому дому. И годы мои в этом мне не помеха. Главное, не отказала бы ходовая часть, ибо на жизненной карте проложен мной может быть последний, но самый трудный курс.

– Туда, где трава по пояс, – грустно заключил молодой шофер. – Но мне еще туда не надо. Счастливо, капитан....

Николай Фотийвич не ответил. Вышел и взволнованно шагнул через не глубокий кювет на едва заметную в высоком

бурьяне дороге своего далекого детства.

Глава третья Д О Р О Г А

Он ее не узнал. Представлял ее совершенно другой. Она была, как ему после казалось, хоть босиком бегай, не сбивая пальцы ног, хоть на телеги как по укатанному. Одолеть ее труда не требовалось. В школу бывало незаметно пробежал, расстояния, не чувствуя и не замечая препятствий.

А сейчас. Она была – хуже некуда. Глубокие колдобины, залитые жидкой грязью на каждом шагу. А то и толстые, замшелые валежины, как нарочно, лежавшие поперек. Переплетения корней, вымытые мелкими, быстрыми ручьями. Она была запущена, и, показалось ему, специально. Не верилось, что его земляки обленились настолько, чтобы поддерживать ее проезжей. «А может быть, – утешал он себя, запинаясь об очередную корягу в траве, и все еще подшучивая над собой. – Тогда я каким пацаном был,

и она А сейчас оба состарились – и все вокруг тоже».

Он быстро устал. Ноги заплетались все больше. Дорога казалось бесконечной. И все выше поднималась по крутому хребту.

Выбившись из сил, с облегчением присел на кряжистый выворот у дороги, но с досадой видя, что она вновь заходит в гущу леса, как в туннель, из которого может быть уже и

выхода нет, задумался.

Такие дороги, как густой сетью накрыли всю русскую землю. И не зря. В ней путалась вся вражья сила. Не пройти, не проехать. Не такой ли дорогой запутал Сусанин поляков, спасая царя. Наполеон едва вырвался из нее, бросив своих гвардейцев замерзать на ней. Гитлер застрял со своей хвальной техникой. Да и меня она выматывает на износ. И так, наверное, каждого, кто захочет повидать нашу глубинку. Кому это надо? Тем, кто должен делать дороги проезжими? Но они, видно, как и мои земляки живут по старинки, ссылаясь от безысходности, что только непроходимые дороги вновь спасут всю Россею. И пусть останутся такими какими есть. Зачем зря на них тратится. Денежку в карман или еще куда. И все довольны. А ведь есть дороги, которые из века в век оправдывают себя. Они для торговли. Их проложили землепроходцы по материкам, а мореходы по океанам. Продавайте с выгодой для себя то, чем вы богаты. Покупайте то, чего у вас нет. Но на чужое не зарьтесь, не берите товар силой, не воруйте. Плохо кончится. Не своим трудом будешь пользоваться, свой исконный забудешь и – захиреешь. Только в мире и согласии торговли. И она с чего началась? С соседей по земле. Они на материках. И океанские дороги связывает их в один узел ради торговли. А на земле: деревню с деревней, город с городом. А внутри улицы, те же дороги и к соседям и ко всему необходимому. А я иду к своему прошлому по запущенной дороге. И не надо пенять на нее. Так что надо

идти и благодарить судьбу, что она все еще есть, такая как есть. Другой и не должна быть, ибо она след от твоего прошлого. Он для тебя сейчас как свежий. Передохнув, он встал и пошел. Старая ветла, наклонившая у обочины, протяжно заскрипела. И ему показалось, что он слышит нудный скрип колес, не смазанных дегтем. Еще отец рассказывал, как ему, первенцу в большой семье, было поручено смазывать колеса телеги дегтем, висевшим в горшке под телегой. Чуть забудешься – и колеса скрипят, будь они неладны. И он в ответе. Запомнил же этот путь на всю жизнь. Из Томской губернии, через всю Сибирь пробиралась тогда на конной тяге, а то и пешком его семейство староверов по разбитым дорогам в загадочную страну у моря или за ним – Беловодье. За нее отец и голову положил, оставив ее как Малую родину от той, которую он искал. «Оставил мне, – подумал Николай Фотийвич, – как пуп на моем теле. А в душе – подсознательную тягу к ней. Отсюда и сила. Как в старой морской песни поется:

Дорога в жизни одна.

Ведет всех к смерти она.

И кто дорогу прошел,

Тот в жизни счастье нашел.

Найду ли я в конце концов. Это уж как судьба приложит. Я для нее сейчас, как ржавый якорь, входящий в клюз навечно. Что-то я не туда зарулил с этой песней. Позабористей она была перед этим последним куплетом. И он ни в том стиле. Кто-то перелопатил его согласно времени совсем не в лад.

Помнится старый боцман наш, еще с Добровольного торгового флота напевал нам, пацанам на баке:

В таверне много вина,
Там пьют бокалы до дна
Среди персидских ковров
Танцуют «Танго цветов».

И не станцевать ли мне наперекор судьбе как в той бесшабашной песенке:

Матрос был зол и ревнив,
Услышав шутку над ним,
И, возмутивши весь зал,
Вонзил в барона/То бишь, в судьбу/ кинжал.

Это другое дело. А то клюз. Что отец бы сказал. Мне надо вернуться с таким же восприятием к жизни, с каким я уходил в юности. И пришел я этой дорогой не для того, чтобы концы отбросить, а отдать должное месту, которое меня породило.

Поднялся на косогор к распадку, в который нырнула дорога, и у него перехватило дыхание. Но не от того, что сходу взял крутизну, а от того, что увидел перед собой, у дороги.

То был высоченный и в два обхвата многолетний Кедр. И показался он ему стражем того, что было за ним и покой которого он охранял вооруженный своей мощью, густой хвоей, очищающий воздух до голубой

прозрачности, да и живицей, сочившейся по глубоким трещинам в толстой коре и застывающей целебной смолой.

– Но его же не было! – изумился Николай Фотийвич. – Это

я точно помню. Была кедрushка моего роста, когда я уходил. Отец еще говорил, что посадил ее в день моего рождения. А, когда она подросла и я подрос, как-то раз, в присутствии отца, ради шалости хотел сорвать распушившуюся верхушку. Отец во время одернул, наказав:

– Сынок, не ломай верхушку. Кедрushка вырастит, а шишек не даст. А кедр без шишек, что мужик без детей. Так что знай.

«Она выросла и стала таким кедром, – остановился Николай Фотийвич, с волнением любуясь Кедром и не обратив внимание почерневшую доску прибитой к его стволу с какой-то надписью. – Он мой одногодок. И какой! И не надо жаловаться ему. У него, наверное, шишек на верхушке бывает навалом. А у моя судьба надавала шишек да каких. Но я ведь все на ногах. И пришел, надеясь увидеть родину мою здравствующей. И ты для меня добрый знак. И не приветствие ли на доске прибито для таких как я, безродных сыновей, – и подошел поближе.

Глава четвертая.

Р А Й

На доске большими буквами было вырезано «РАЙ» А ниже поменьше, но четко и свежее: «Нехристям вход воспрещен!»

«Вот тебе на!» – усмехнулся Николай Фотийвич. – Не

усмехайся, однако, раньше времени. Ежели ты нехристь не пущу. – раздался бас как показалось в густой кроне кедра.

– Я крещенный в лохани, – нашелся Николай Фотейвич и задрал голову. Он не лгал. Ему еще мать рассказывала со смехом, когда он подросток: «Ты, Никанорка, дважды крещенный. Первый раз с печки, на край, который я тебя второпях положила, брякнулся прямо в лохань. Второй раз в речной купели. Так что жить будешь».

– Однако, паря, ты под ноги гляди. «Рай наш у нас на земле, а не на небе», – произнес назидательно все тот же голос уже совсем рядом. И из-за Кедров показался мужик как его дополнение. Такой же торсом, такой же заросший, только рыжей бородой, закрывающей всю грудь. И ясными, как озоновое небо над Кедром, глазами. Чем-то ко всему напомнил отца, наверное, больше одеждой.

На большую голову его бала нахлобучена войлочная шляпа самодельной выделки. Холщовая рубашка ниже пояса, застегнутая на все пуговицы и подпоясанная сыромятным ремешком. Широкие штаны были заправлены в высокие голенища охотничьих ичиг.

Остановившись в двух шагах, навис как глыба, и с какой-то совсем не старческой улыбкой, продолжал:

– В лохани, говоришь, тогда пропущу, но все равно с оплатой. По одежки-то не наш. Городской, поди. Каким, однако ветром тебя занесло, паря?

– Попутным...

– Ишь ты. Оно и видать. Налегке поди... Толку с тебя мало. Чо возьмешь с таково.....

– Смотри какая оплата.

– Да бутылкой, однако, как повелось. А чем же ишо. Лучшей оплаты пока на Руси нету. И навряд ли будет, ядрить ее налево.

– Ну, хозяин – барин, – и Николай Фотийвич достал запасную бутылочку. Вот и пригодилось.

Бородач отвел ее рукой.

– Что мало? – спросил Николай Фотийвич и подумал смущенно: «Действительно, что это я... Да такому медведю это наперсток. Ему бы стакан. Вот так старовер».

– Укатали Егорку, крутые горки, – хмыкнул бородач, ровно угадав осуждение, которое так сразу вынес еще не знакомый пришелец. И снисходительно предложил, как хозяин положения, которому виднее как поступить, чтобы не упасть лицом, да еще и бородач, в грязь:

– А че стоим-то?! Что есть, то есть. Поди, лучше присесть. И по глоточку для знакомства. Виднее будет, что и как, да и приятнее – по глоточку для разговора.

Расположились под кедром как на смолистом ковре.

Николай Фотийвич нарезал колбасы. Снял с бутылочки стаканчик. Наполнил. И – бородачу. А тот вдруг:

– Так ты сперва сам, а потом мне, если на, то пошло.

– Что так?

– Так у нас заведено, разве не слышал...

– Когда это было... Да не то еще слышал о староверах и не раз, – хотел добавить: « Но почему-то лишь о наших». Но промолчал, не желая обидеть.

Встречался он с ними и в Японии, и на Аляске, и в Уругвае, да куда только не занесла их злосчастная судьба, когда многие из них вынуждены были покинуть свою родину Россию – матушку. И везде отзывались о них как о доброжелательных людях, правда живущих общинами в своих поселениях, сохраняя свою веру, свой язык, свои обычаи и главное, что всех удивляло, – необычайное трудолюбие. Благодаря ему они везде приживались, жили в достатке и были гостеприимны.

– Неужели осталось такими до сих пор.

– Однако, осталось. В тайге живем. А заразы в миру не убавилось, а прибавилось.

– И посуду выбрасываете?

– Бывает.

– И не пьете?

– Смотря с кем и, как и отчего.

– Сейчас за встречу...

– С кем? Ну, да ладно, однако. Возьму грех на душу, пока никто не видит.

– Кто здесь видит. Кроме кедра вроде никого нет.

– Грех, значит, когда его видать. А, когда никто его не видит – ничо.

– А из староверов ли сам?

– На дух – из староверов. А по телесному так себе, с боку припеку. А куды деться. Но советский. Молотый, перемолотый. Ядрить меня на лево. Мне, что сверху, что снизу. Бог, нечай, всяких видал и видит. Всем прошат. Да разве грех глоток выпить, да еще и заморской. Али два. Был бы толк. А толк-то – человека познать в разговоре. Он ведь никак не идет, чтоб на душу не принять. На этом Русь держалась и держится. С кем только ей не приходилось пить и что? лишь бы не ссориться. А мы ее дети малые. Как примам, так выше нормы и дурь в голову. Так ты не держи. Я жду....

Николай Фотийвич выпил. Потянулся за колбасой. Хотя надобности в ней у него не было после такой малой дозы.

Бородач, выпив, сокрушенно покачал головой:

– Наперсток! И уже все в миру по стольку пьют?! Пропала матушка Русь.

Вот раньше – и поднял руку, словно желая швырнуть стаканчик куда подальше от Кедр, продолжил стихом:

В старину живали деды

Веселей своих внучат:

Как простую пили воду,

Мед и крепкое вино....

Николай Фотийвич не скрыл удивление. Он стихи любил. Какой моряк без них, да к тому же – штурман, над головой которого всегда заманчивые звезды, впереди загадочный горизонт, а за кормой милый берег и все, что в душе и на сердце. Сам в юности, на вахте у котлов, бывала с пафосом вы-

крикивал, расхаживая по кочегарки:

Наша вахта сильна!

И никто никогда!

Не пройдет больше

Гвардии вахты.

Но к своему счастью быстро понял: стихоплетство – для слова, а поэзия – для души. И она повсюду, как воздух на планете, где живет душа человеческая. У нее один язык, ясный каждому – чувство. Еще наш Александр Сергеевич в славную бытность свою заметил:

И выстраданный стих, пронзительно унылый,

Ударит по сердцам с неведомою силой.

Вот и брось, что тебе не дано, и радуйся тому, что можешь чувствовать тех, кому дано, выразить словом то, что и тебя волнует. Многих поэтов он знал на память. Мог блеснуть четверостишьем, а то и более при случаях в хорошей компании. Но тут и от кого и где!?

А бородач по-свойски, видимо присущей ему:

– Че уставился-то... Али думаешь, что живем в лесу, да молимся колесу. Не на таковского напал. Мы ни лыком шиты. А че, не правда что-ли было сказано? Пили всей артелью с ведер и не плошали. Силен был народ, да видать, ослабел на обетованной земле нашей. А отчего бы? Не нам судить.

Закусывать колбасой он тоже не стал. Но, словно по какой-то своей привычки, заживал травкой, густо разросшейся у ног, там, где земля не была засыпана толстым слоем по-

желтевшей хвои, годами опадавшей с кедра.

– А что не колбасой? – поинтересовался Николай Фотийвич, удивляясь.

– Да мы ее, как и медвежатину, не едим. Мало ли чо в ней напичкано...

А травка, да ишо у кедра, что черемша. Тюца называется. Запашок вроде бы тот. Но всяку гадость во рту сбивает наповал. Да и появляется пораньше, когда человеку, как и зверю, травка для здоровья нужна. К ней наших отцов ишо орочи приучили. А их вроде бы корейцы. Так вернее. Названье-то ихнее. Да и в травках лечебных они зуб съели. И нас приучили. А вот от чеснока нас бог избавил. И верно. Рот обжигат, а толку.... Одна вонь. Старики говорили ишо, мол, когда Моисей сорок дней кормил в пустыне свой народ манкой. Она народу осточертела. Он напал на чеснок. А от него смрад. Господь прознал. Разгневался, ровно простой смертный, проклял вонючую траву и тех, кто ее ел и до сих пор ест. Наматывай на ус.. Авось пригодится... Так плесни -ка ишо. Что-то не разобрал че к чему. Вроде захорошело, вроде нет.

Опрокинув вторую, тут же сказал:

– Бог-то троицу любил и нам велел.

Когда допили, изрек со знаньем дела:

– А все-таки наша медовая бражка вкуснее. Не пил ишо?

– Не приходилось.

– Однако, придется. Угощу, если гостем будешь

– Я не пить приехал, а жить.

В бородаче вдруг как будто что-то изменилось. Лицо его стало строгим. Глаза – наострились. Он спросил, как следователь на допросе:

– Признайся уж, ты не из наших- ли?

– Из ваших, но без бороды.

– А ты не ерничай. Борода у нас -святое. Нет ее, нет и души. Срезать -великий грех Так-то. Ну, да ладно. У тебя и без бороды – душа нараспашку. Глаза выдают. А нас староверов жизнь приучила бородой ее прикрывать. Так что не обессудь. Ответ держи как перед начальством. Или скрывать тебе есть че!?

Глава пятая.

КРЕСТНИК

– Было бы не пришел. Фамилия моя Долганов. Говорит она тебе о чем не будь?– спросил с надеждой.

– Вот те на! Долганов! – воскликнул с радостным и не скрываемым изумлением. – Как не знать. А я все приглядываюсь на кого ты похож. А ты, видать, Никанор.

– Был Никанор да весь вышел. И я давно Николай...

Бородач понятлива кивнул и с какой-то радостью назвался:

– А я из Толпышевых. Небось, помнишь?

– Вроде соседи были.... Но тебя не припомню.

– Какой там! Но мы с тобой крестные братья.

– Когда успели?

– Да так вышло. Я свет божий увидел, когда ты уже в море ушел. И твоя мама Устинья Степановна меня крестила. Она, однако, по обычаю моя крестной мать. А ты мой брат... И не отнекивайся.

– Я не отнекиваюсь, – сказал Николай Фотийвич с трудом веря и думая: «А я-то... Выходит, не все еще для меня потеряно». – Знал бы раньше, списались бы... И к себе пригласил, или сам бы давно приехал.

– Так знатъе бы и соломинку бы подослал. – без какой-либо обиды сослался на поговорку не кровный, но все же брат, знающий себе цену. – Раньше довелось мне дать тебе телеграмму. Крестная просила. До последнего часа ждала тебя... Да че говорить, мать есть мать. Моя тоже давно почила. И они на погости рядом.

– А отец? тоже..., – зачем-то спросил, подразумевая под словом «тоже» что его отец там же, где и его.

Бородач понял:

– Там же, где же ишо в его годы... Меня и назвали его именем – Иваном. Вот и выходит, на Руси нашей все еще Иванов, как кедра по тайге. А кличут меня в закутке нашем – Ивановичем. И не потому, что я избран на сходе старостой в нем и не из уважения к моему званию, а в память об отце, что меня и обязывает.

– И ты под стать ему, как я посмотрю.

– Да, силенок у него было – не занимать. Он тигра ловил

за загривок и поднимал как кошку.

– А ты?

– Куда мне. Да и тигра в нашей тайге днем с огнем теперь не сыщешь. Его тоже люди как говорил Дерсу Узала. И ушел из нашей загубленной нещадной вырубкой тайги в Китай.

– Значит, сейчас тебе ничего не остается как встречать таких как я под такой надписью.

– Однако, я, видать, по воли бога в такой час тут оказался. Сам диву даюсь. Надо же, крестного встретил. А надпись так себе. Голь на выдумки легка.

– Хороша голь, если судить по надписи.

– Она не для таких как ты. По тайге сейчас, как в старые времена, такие хунхузы бродят, что не дай бог. Норовят все нами наживное хапнуть. Вот мы и остерегаемся как можем... и прищурил глаза. – Так ты насовсем вернулся, али как?

– Как примете...

– А что принимать-то. Ты на старости лет к себе вернулся. А че без семьи-то?

– Не сберег я семью, – оборвал резко Николай Фотейвич.

– Как это?

– Жена погибла вместе с сыном.

– Ох беда! И все, как перст, один?

– Как видишь..., – не охотно отвечал Николай Фотийвич.

– Тягость мучит. Оно и видно. Да что ворошить-то, – сочувствовал Иванович. – Лишь бы с душой пришел. Однако, не с грешной. Не замаливать же грехи свои чай явился.

– Не бойся. Я вроде бы не грешил. Ни до этого было. Да с кем в море согрешишь? С русалками что ли...

– Не шуткуй. Я за тебя буду в ответе. Мало ли чо участковый у меня спросит. Он хоть один на всю округу, но как я появлюсь в районный центр, так он ко мне, как там у вас... Так я ему бы выложил, как там у нас... Приди и посмотри, говорю. И пришел бы, отвечат, если б не дорога ваша. Ну и как ты. Говори. как на духу. Не подведи меня. Мало ли чо – Успокойся. За кормой у меня все нормально. За границей ни раз бывал, как юнга Огненных рейсов. Медаль «Ушакова» за это имею. Участвовал как вольнонаемный в десантных операциях во время Японской войны И медаль «За победу над Японией» имею. И удостоверение «Участник войны». И как ко всему: орден «Трудового Красного Знамени» и юбилейную медаль к столетию Владимира Ильича Ленина. Так что за меня не бзди....

– Так бы и сказал, а то вокруг, да около, – кашлянул Иванович, – И с разу видно, что наш.

– А дом наш цел? – задал наконец свой главный вопрос Николай Фотийвич, боясь получить отрицательный ответ.

– А то как же! – обрадовал его Иванович, – Пойдем, покажу.

Николай Фотийвич попытался подняться. Но ахнул от боли. Левую ногу свела внезапная судорога.

– И часто это у тебя? – спросил Иванович.

– Первый раз, – морщась, выдавил из себя Николай

Фотийвич, с трудом растирая затвердевшую подколенную мышцу. – И вся ваша дорога. . . .

– Предупредил бы заранее что приедешь, мы бы тебя привезли по речке, а то на вездеходе.

– Хорошо живете.

– А то как же, на то и Рай, чтоб хорошо жить.

Когда судорога отпустила, Николай Фотийвич поднялся, но все еще с ноющей болью и шел, припадая на левую ногу.

Молча прошли до поворота. Но за ним, скрывая деревню, стояла выше человеческого роста плотная ограда из гофрированного листового железа. В ней не было видно ни ворот, ни дверей.

– Железный занавес, – усмехнулся Николай Фотийвич.

– Какой ишо занавес. Заплот, – как-то обиженно отозвался Иванович.

– От тигров?

– Сейчас зверь почище пошел, – буркнул Иванович.

– А этот дом не наш ли? или я ошибаюсь? – кивнул Николай Фотийвич на заброшенный дом, одиноко стоявший вне ограды на крутом берегу.

– Так ваш. . . . А чей же.

– Не ожидал свой дом увидеть в таком состоянии. А могила матери тоже запущена?

– На погосте у нас порядок. За могилой крестной я сам слежу. Да и родительский день не мной придуман. . . . Останешься вот -вместе навестим. А дом-то. . . . Так что ж ты хо-

тел. Дом твой столько лет стоит как сирота, – укорил Иванович. – Скажи спасибо, что цел. А тятки своему, что таким крепким на веки его срубил. Тятки давно нет, а дом стоит как память о нем. Нам бы так оставить что-то нами сработанное.

– А почему он в стороне оказался? С него, насколько я знаю, наша деревня начиналась, – не скрыл обиды Николай Фотийвич.

– Да ты обиду на нас не держи... Он нами не забыт. И оставлен на виду таким как есть. И не просто так, а с умыслом.

– Не понял.

– Так тут и понимать неча, – хитро сощурился Иванович, будто довольный тем впечатлением, которое произвел заброшенный дом на Николая Фотийвича. – То-то нам и надо... Не для тебя конечно. Для тебя мы все внутри сохранили, веря, что ты все-таки вернешься и не на пустое место. С наружи же не для тебя.

– Но для кого же?

– Для тех, кто на наш рай зарится. Он для них, как показуха... А по нонешному как реклама.

– Нашли чем рекламировать.

– Да ты сперва покумекай, потом осуждай. В рай-то каждый норовит по пасть. Все на готовенькое. Не знашь что ли как нас выживали из наших деревень. Мы только обживемся в непролазной тайге, избы построим, огороды раскорчу-

ем, а нам хохлов подселивают. Они курят, пьют горилку, матерятся, гадят, а работать в тайге – ни шиша. Какое жилье с ними. Мы все бросали и уходили подальше. И вот теперь тоже. А тут – рай. И каждый норовит попасть. Приедут посмотреть. А тут домишка замшелый на курьих ножках. А за оградой или ты говоришь за железным занавесом поди еще хужи. Одна вывеска для потехи – Рай. И скажут себе: мы уже нажились в таком рае. И поворот от ворот. А нам это и надо. Однако, скумекал?

– Скумекал. И буду в нем как часть этой рекламы убогости.

– А че ты хотел.

Глава шестая

Р Е К Л А М А

На первый взгляд дом вполне оправдывал свое нынешнее назначение. Старая крыша, его покрытая колотой дранкой, кое-где была залатана ржавыми листами железа, как обветшалая одежда заплатами. Толстые брусья стен почернели. Ставни окон обвисли. Окна потускнели. Плахи завалинок обвалились. Крыльцо покосилось. Ступени грозили развалиться. Резные столбики, поддерживающие плоский навес, скособочились. А как бы над всем этим сиротством высилась одинокая плакучая Ива, как горестная дева с распущенными волосами. Ее не было тогда, когда он уходил. Да и все

остальное не было таким.

В памяти Николая Фотийвича дом остался большим, ухоженным и зажиточным. Всюду виделась рука отца. Запомнилась, что он все время что-то подделывал, подгонял, вырезал, стараясь сделать дом еще краше. Любил напоминать с гордостью: «Построен без единого гвоздя колышками, да клинышками. Топором да пилой. И чтоб все ладно было. И все по-божески. Вотмотри, три окна на южном фасаде. Три ни больше, не меньше. Ибо, есть: «Отец, сын и Дух святой» Вот у нас в горнице и полно солнышка. Мать не нарадуется. Каков хозяин – таков и дом». Так или ни так говорил отец, но смысл всплыл в душе Николая Фотейвича таким образом и зацепил за сердца тяжелой виной, будто сам был виновен в том, что отчий дом, забытый им, превратился в жалкую убогость. И не только дом. Двор без поленницы. На воротах закрытого колодца уныло висело ржавое ведро. Большой огород на склоне к реке зарос густой полынью. Прясло из жердей завалилось. Куда не помотришь – запустенье.

Упрек Ивановича был справедлив. Николай Фотейвич не стал оправдываться. Да и зачем. Тяжелея стало от того, что теперь он не найдет в себе силы восстановить все как было прежде, не говоря уже о том, чтобы заняться землей, хотя бы вроде дачника и проводить здесь летнее время на своей малой родине и среди земляков. Он безнадежно повернулся к Ивановичу, не скрывая этого, и будто сам себя осудил:

– Да, Иванович, ты прав: выход у меня один- быть частью

вашей рекламы. – Не быть же мне капитану на старости лет во всех своих регалиях тут свадебным мореходом. И кричать на свадьбе ради потехи: «Полундра! Теща на горизонте. Спасайся, кто может». Лучше согласно времени рекламой нищеты быть. Сидеть на сгнившем крыльце в оборванных до колен джинсах, в морских деревянных колодках на босу ногу, в замызганной тельняшке и в выцветшей штурманской фуражке с туским крабом над треснувшим козырьком. Не бриться. Не мыться. И чтоб рожа была опухшей, как у бича. И буду, как пугало в огороде. Все для вашего рая польза, а мне наказания за долгое отсутствие, как блудному сыну. Ну как, староста, на твой взгляд.

– Однако, вроде хорошо, ежели прикинуть, -сощурился Иванович, пряча смешинку. -Время тако...Вчера капитан, а седни – дворник. А че. У нас в артели каждый на своем месте и млад и стар. Никто работой не обижен. Всяку работу человек должен делать пока есть силы. Не в наказании дело за провинность каку, а в любом деле, которое в общине нашей нужно всем. Для тебя наказанием будет, если мы тебя на иждивении возьмем. Рай-то рай да работы в нем непочай.

– На иждивении у своих земляков – ни в коем разе. Моей пенсии мне хватит. Но и бездельником слыть не хочу, да и не привык. Почему и в городе маялся. – повысил голос Николай Фотийвич, заметив усмешку.

– Так-то лучше, чем жалится. Всерьез-то не дашь себя объегорить, да еще и по пустякам. Дело-то выеденного яйца

не стоит, чтобы всерьез говорить – то. Да ты и сам такой. Как себя, моряка, обговорил. Смех один. А к рекламе – самое то. Так, глядишь, и стоворимся, – продолжал Иванович все в то же духи.

– Но, если и я такой, тогда слушай, – сказал Николай Фотийвич как можно серьезнее. – Я согласен. Но без испытательного срока. И с твердой оплатой и вовремя, а то будете тянуть как работодатели сейчас делают.

– Какой ишо оплатой? – спросил Иванович, теряя усмешку.

– Оплата такая. Мене достаточно, чтобы у крыльца с утра стоял жбан с бражкой, шматом сало и картошкой в мундирах.

– Так за этим дело не станет, – с облегчением выдохнул Иванович.

Оба рассмеялись, довольные тем, что нашли общий язык. А потом Иванович с легким сердцем, но с какой-то таинственностью на лице предложил:

– Теперя заглянем в избу.

– Что-то не так? – насторожился Николай Фотийвич.

– Смотря для кого, – уклончиво ответил Иванович. – Тятка-то твой, царство ему небесное, дом построил по староверски, с секретом. Варнак в него не зайдет со своим душком.

– Да какой же я варнак.

– А чем пропиталась твоя душа за столь время. Кто знат.

Я тебе вроде брата, и то сказать не могу. В доме же Матка она сразу угадат. И если что не по нее – не пропустит.

– Но это мне не страшно. Я до мозга костей продут от всякой нечисти морским ветром.

– Дай-то Бог, – Иванович, не желая впутывать душу свою, да и сберечь душу крестного брата своего, закатил глаза к высокому небу и размашисто перекрестился.

Глава седьмая.

М А Т К А

Подошли к крыльцу. Николай Фотийвич, все еще чувствуя боль в ноге, спросил, кивнув на подгнившие плахи:

– Не сломаются?

– С чего бы! – заверил Иванович. – В моем брэнном теле ни один пуд – и ишо не раз ни одна доска не проваливалась под ногами.

Уверенно ступил прямо на вторую ступень. Ее плаха, жалобно хрустнув, вдруг подвернулась и ввалилась. Он, проваливаясь, взмахнул руками, и успел ухватиться за столбик:

– Над же так! Да еще как нарочно при хозяине. На мою голову... Ядрить ее налево.

– Что ты все ядрить да ядрить? Старовер вроде.

– Так это вместо мата. Мы же не материмся. А порой хо-

чется. Вот я и придумал. И вошло в привычку – и к месту, и не к месту. А седня на языке. Так при тебе прикидываюсь. А то все староверы, да старовера. А мы че – те же русские... Но перед Всевышнем – другие.

– Я не Всевышний! – сказал Николай Фотийвич. подумав о своей ноге, которая при каждом неосторожном шаге давала о себе знать. – Но если оступлюсь, накрою твою голову пару ласковыми, не смотря что ты крестный.

– Не обессудь, все рук не хватат. – И Иванович почесал бороду, которая, наверное, иногда заменяла ему затылок, и изрек смущенно, – Бог не Мякишка. Скрывай не скрывай, а он примечает и никакого обмана не пропустит. Сколько раз себе говорил, да и другим тоже. А толку...

Сени были не заперты. На дверях в дом тоже не было замка.

– Так у нас повелось, – сказал Иванович, распахивая дверь. – Исполнять одну из заповедей Христа – не воруй! И дом открыт и душа открыта. – и похвастался как ни в чем не бывало. – Обычаи отцов не нарушаем.

Но за дверью оказался настолько высокий порог, что не каждый сходу возьмет его. «Тем более я со своими мотылями», – подумал Николай Фотийвич, не решаясь поднять ногу. И не скрыл недовольство:

– Что-то мой батя перестарался.

– Нет! Он постарался и не зря, а с умыслом. – возразил Иванович. – Посуди сам. На улице трескучий мороз. Откро-

ишь дверь нараспашку, мороз-то хлынет по низу, а тут порог. Мороз и упрется. И ишо, высокий порог малышню приучал не ползать через порог, а переступать через него.

– Ясно. То-то я легко перешагивал все высокие комингсы, встречавшие на своем пути. – заключил Николай Фотийвич.

– Много чего еще в доме, что тебя напугат, – произнес Иванович, про-

пуская его вперед.

– Я уже ни раз напуганный, – отмахнулся Николай Фотийвич. А зря. Не успел и шага сделать в кухню, как все существо его сжалось от какой-то настороженности. Он замер. Над ним нависла балка, лежавшая поперек входа. Потолок, который она удерживала, был из широких плах, давно небеленых. И всем своим существом он ощутил, что стоит ему двинуться дальше, как балка вместе с потолком свалится ему на голову. А это, пожалуй, будет больше чем излом ступени под ногами.

– Проходи, не бойся, – сказал за его спиной Иванович. – Это балка из кедра, а никакая-то подручная доска под ноги на скору руку. Балка надежна. Да и с задумкой. На тебя не свалиться... Она соображат не хуже нас.

– А ты откуда знаешь?! – машинально, но шепотом спросил, он с трудом снимая с себя наваждение.

– Мне ли не знать, – тоже шепотом, но, словно открывая какую-то тайну, отвечал Иванович. – Вишь, она не зря поперек лежит. Это для того, чтобы какой варнак в избу без спро-

са не зашел. Такое вложили нее, как душу, мужики-плотники, скопом, уложив ее на сруб и, назвав ее маткой, обсевали ее. Обряд блюли. Он таков был: Хозяйка, варила кашу. Хозяин закутывал горшок в полушубок, заносил в сруб и подвешивал к матке. Один из плотников влезал наверх, обходил последний венец, сея хмель и хлебные зерна на счастье и благополучие. Потом подходил по матке к горшку с кашей, перерубал топором веревку, Горшок с кашей ставили в круг под маткой. Ели кашу и запивали бражьюлькой, чтоб держалась балка и злой дух в избе не пушала.

– Умные мужики были, – сказал Николай Фотийвич, расправляясь. – И не было случая, что бы она не сваливалась на голову? На мою, например.

– На твою нет. Ты не варнак какой. Она тебя просто припугнула, за то, что ты долго в избе своей не бывал. Для нее это грех.

– А вдруг переборщили, обмывая. Она возьми – и перепутай.

– Не перепутает. Все с умом, а не с бухты-баракты нами в нее вложено. И не попьане топором махать и глаз иметь острый. Ни в коем разе. А не обмоешь, так она и на нас обидится, чего доброго. Так и сидели под ней, ровно проверяя, не заскрипит ли где, не даст ли она знать о себе. Таков у обычай: что не сделал, к тому же нужное – все обмой, как новорожденное. К тому же, это матка нечай в доме. И не нами названа- Маткой! – закончил Иванович со значением.

– Я не пойму, -протянул вдруг Николай Фотийвич с явным осуждением. – Это у женщины матка. А деревянная балка в избе причем.

– Вот те на! – развел руками Иванович явно обескураженный. – Взбредет же в голову такое. Это все море сказывается. Баб-то нету. Вот вы и богохульствуете, где и как и до чего можно достать мужику под юбкой. А матка не только женское чрево, куда твое семя натруженное падает. Она всему голова, без которой жизни нет. Она и у пчел, и у растений разных. И на русском языке, она – Матка. Разве душевнее скажешь. Язык – то у нас знает толк, чтоб метко назвать. А балку эту иначе и не назовёшь. Сам посуди. Она ведь тоже новорожденного качат. Забыл, поди! Так вот, вишь крюк в балке. На ем зыбка подвешивалась... И все мы на ней, как в руках материнских качались. Разве не так?

– То-то я не укачивался в море, – сказал Николай Фотийвич, удивляясь простоте объяснений глубокого содержания. И, посмотрев на балку, сказал ей. – Качала меня, а теперь пугаешь и поделом. Главное, не свались на меня раньше времени.

– Не бзди! – теперь уже посоветовал Иванович, – Она не пальцам делана, как и мы с тобой. И на годы. Глядишь и крюк ишо пригодится.

– Типун тебе на язык...

– Ты все, чо не доскажешь, на свое коверкаешь. А пора бы и о хорошем. Крюк-то для зыбки.

– Ты в своем уме! Я же сказал – одинок я...и однолюб!
Какие внуки... От кого? Сожалею, но это так...И чуда не будет...

– Чудо будет, если верить. Деревня, ни город. Одна русская печка че стоит. По себе знаю. Настужусь бывало месяцами в одиночку на зимней охоте, в избу вернёшься – скорее бы косточки погреть. не до греха тут. Да и годы тоже не те. А женка не будь дура, тоже в одиночестве намаялась горемычная, печку приготовила– и в жерло наколенное меня, как в пекло и без противня, да на хвойные ветки. Выскочишь, словно народившийся. А она тебе ковш бражки сует. «Пей, Ванюша, чего там!» А сама нагишом и распаренная. Хватаешь ее и на печку. А она для чудо сделана. Поверь, по себе знаю. Предки наши ее с умом делали. Натопишь ее, а она все длиннюю зимнюю ночь тебе и веселит, подогревая и душу, и твое брренное тело. Она не из кирпича, а из подсобной глины. Свежую ее мешали с солью и песком. Потом сбивали в опалубке. Утрамбовывали. Били тяжёлым пестиком до тех пор, пока глина не становилась твердой как камень. И всю печь ставили помочью три-четыре мужика за один день. И время ее не берет. Она для сибиряков как тулуп, пока они молодые. Завернуться в тулуп и на морозе, что на печке, чудят. А нам теперя лишь на печке ладно и то так, по старой привычке, не ожидая чуда.....

– А хотелось бы? – перебил его Николай Фотейвич как бы невзначай, но в душе чувствуя то, что до этого не чувство-

вал: щемящую тоску одиночества, которая вдруг наполнял его душу.

– Согреет тебя печка, узнаш...

– Наверяд ли печь мне поможет. Да еще одинокому.

– Не зарекайся. Она не только душевную силу даст, но и телесную. И ты разморённый на теплой лежанке и в одиночестве маясь, враз, забудешь, че в голому на столько лет дурь забил про однолюбство. И соскочишь с печки, чтобы найти в раю свою половину.

– Тебе бы духовником быть, – сказал Николай Фотийвич.

– Кто знат, – кивнул, соглашаясь Иванович. – А разве не чудо ... Ты в далеком море был, где люди тонут. Моя крестная молила, не переставая, Божию Матерь, спасти тебя. Потом Японская война прошла, а о тебя не весточки. Все наши уверились, что ты утонул. А крестная все: «Чует мое сердце Никорушка живой. Да и Божья Матер подсказывает это». Так и отошла. И на мою телеграмму ответа не было. Мы и ее и тебя отпели. Царство вам небесное. А ты живой. И сам бог привел тебя к родовой печке. И не верится, но это так. Ты живой и здоровый, разве не чудо. Мало ли че ишо жизнь подкинет.

– Не хватит ли?

– Так уж это уж как бог даст. Но на него надейся, а сам не плошай.

У печки все было как при матери. В ее арочных нишах все еще стояли в горшки от большого до маленького. К ней были прислонены длинный ухват, кочерга и деревянная лопата. У подножья лежала кучка дров. Арочное жерло было открыто. До и сама она, занимая пол кухни, была центром теплоты, домашнего уюта, семейной сытости, выглядела все еще как добротная хозяйка в доме, хранившая в жерле все благополучие, которое всегда отдавала тем, кто ее обхаживал. Но их давно не было, и она молчала, глубоко скрывая в чреве своем, тот холод, что накопился в нем.

«Как и мама, – содрогнулся Николай Фотийвич. – Она тоже не упрекнула меня. Молчала бы, вытирая слезы радости на глазах, и забывая всю боль, которую я принес ей, не давая ей весточки о себе. Прости меня».

Он вдруг почувствовал себя тем мальчишкой, который прощался более шестидесяти лет тому назад тут у печки со своей мамой. Она протянула ему вынутые из печки картофельные лепешки. Прошептала дрогнувшими губами: «На дорожку, сынок. Когда поди тебя накормят и чем на том пароходе».

– Кормили меня, мама, на пароходе хорошо, – вслух сказал он. – Но запало мне в душу что вкуснее твоих лепешек, испеченных тобой в нашей печи, я больше ничего ни ел...

– Верно говоришь, Крестный. Я тоже из того голодного детства. Но знашь, вспоминать не хочется, что и как мы ели.

– Наверное, потому, что ты вырослел, не покидая свою малую родину. И тоска по ней не томила твою душу. А в моей душе осталось хорошим только это. А вот сейчас, смотрю на печь и наплывает на меня, что-то еще большее, что исходила и от нее и наполняло душу чуткостью, как от родительского воспитания, которую я всю свою жизнь и проявлял.

– На лежанке-то, небось, лежал мальчонком и сказки слушал? Знамо дело, – улыбнулся ему Иванович.

– Может так и было. А сейчас и в памяти всплыло, – тоже улыбнулся Николай Фотийвич, рассматривая верхнюю лежанку под потолком так, будто не веря, но продолжал, словно впадая в детство, которое и у него было. – В окна бился метелью мороз. Мы с тяткой нежились в тепле, в ожидании, когда мама, возясь у печки, позовет к столу. Я держал на коленях толстенный том Пушкина и читал по слогам сказку о царе Султане. Тятка, полусидя, слушал. На третьей девицы я вдруг прочитал без всякой запинки:

Кабы я была царицей,
Я б для батюшки царя
Родила б богатыря!

А тятка восхитился, но не моим первым успехом в чтении: «Ай да Пушкин, под руку сказку подал». И крикнул маме строго:

– Слышь, мать! А ты кого мне принесла да ишо на покосе?

– От кого понесла, того и принесла, – отвечала мама, хлопая, видимо разгоряченной крышкой прикрывая чугунок с тем, что томилось в нем, наполняя аппетитным ароматом всю куть. – Станет плясать от печки, русского духу наберется. А лежмя лежать будет не будет толку.

– Ты мотри, мать да не заговаривайся, – оборвал отец, защищая меня и подмигнул мне ободряюще, мол, не бери в голову. А маме:

–Илья Муромец сколько лет на русской печи лежал?

– Да, поди, тридцать лет и три года, – посмеивалась мать, дробно отбивая, как судовую склянку на обед, деревянной ложкой об стол.

– И никто ему не сетовал. А мы-то всяго, пока метель метет. И силенок еще не набрались, чтобы на защиту Руси встать. А пока нас хватит, чтобы с

печи не с лазя, щуку тебе поймать. Не так -ли, сынок? А я отвечал, заливаясь смехом под вой метели:

– По щучьему велению, да по- моему хотенью.

– Слышишь, Мать? Сынок-то в меня пошел и о тебе заботится вроде меня. Так пойдет, так он избавит тебя с печи не слезая, от твоей готовки. И будет тебе печь из жерла своо сама выставлять на стол, что душа пожелает.

– Учи, учи – и выйдет из него, на печке лежа, Ванечка – дурачок.

– Не выйдет. Он ума набирается, книжки читая. Ну- тка, сынок, дальше.

– И я громко, чтобы мама слышала, нараспев читал:
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела
И в светлицу входит царь,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.